

О довоенном детстве, голоде в эвакуации и однокурсниках-фронтовиках в Литературном институте

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1650>

16 ноября 2013

Собеседник

Жуховицкий Леонид Аронович

Ведущий

Бонч-Осмоловская Наталья Николаевна

Дата записи

Беседа записана 16 ноября 2013 и опубликована 20 октября 2015.

Введение

В первой беседе писатель и драматург Леонид Жуховицкий рассказывает о голодном довоенном детстве в Москве, о разговорах, которые ходили тогда: о врагах народа, просивших сохранить им жизнь, и о том, будет ли война. Начало войны застало Леонида в Евпатории, где он отдыхал вместе с отцом. После возвращения в Москву вместе с матерью эвакуировался в Новосибирск, а затем — в Томск, где также голодал и едва не умер от тифа.

Вернувшись в Москву в 1944 году, с матерью и бабушкой поселился в бараке в районе Коптево, а затем — в полуподвальной коммуналке в Историческом проезде с видом на Кремль. Несмотря на все бытовые сложности Жуховицкий закончил школу с золотой медалью, однако поступить на журфак МГУ не удалось — был самый разгар кампании по борьбе с космополитизмом. Будущий писатель поступил в Литературный институт, где его однокурсниками оказались многие известные в будущем поэты и писатели, прошедшие фронт. Воспоминаниям о них и преподавателях Литературного института посвящена заключительная часть беседы.

Наталья Николаевна Бонч-Осмоловская: 38-й год, а у вас в семье не пострадал никто?

Леонид Аронович Жуховицкий: Не было семей, где бы никто не пострадал. Дядя Лева, брат отца, родной младший брат, просидел 19 лет. Его посадили в 36-м году, вышел он в 55-м году.

Н.Б.-О.: Уже после смерти Сталина.

Л.Ж.: Да, конечно. После смерти Сталина, когда началась реабилитация. Его, естественно, тоже реабилитировали, поскольку посадили его за покушение на Молотова. Очень интересная история, он мне ее подробно рассказывал. Надо сказать, что дядя Лева вышел из тюрьмы совсем не диссидентом. Он, знаете, как в холодильнике эти 19 лет прожил, и он мне говорил после XX съезда и далее: «Вы несчастные люди, вы ни во что не верите, а мы верили». Я ему говорил: «А почему ж ты тогда не восстанавливаешься в партии?». Он мне говорил: «А потому, что там сейчас не те люди».

Н.Б.-О.: Партия хорошая — люди не те.

Л.Ж.: Люди не те, партия хорошая. Как случилось это покушение на Молотова? Дело в том, что не в 36-м году, а раньше, за несколько лет, в начале 30-х, на хлебозаготовки в Сибирь приехал Молотов. Тогда была такая мода, члены Политбюро разъезжались по стране руководить хлебозаготовками. Молотов приехал осенью, когда была распутица, грязь и, естественно, отдаленные районы огромного Западносибирского края не могли привезти хлеб, даже если он у них был. И вот заседает бюро обкома, а дядя мой был помощником прокурора края. Они говорят, что край не может отчитаться по хлебозаготовкам, потому что дальние районы, пока не ударят морозы и не установится зимний более или менее проезжий путь, они не могут вывезти зерно. На что Молотов сказал: «Мы можем решить проблему в три дня». Это говорит член Политбюро, второй человек в государстве. Как решить?

” Молотов говорит: «Если в трехдневный срок эти районы не станут сдавать хлеб и не сдадут полностью, расстреляем всю верхушку района, всех секретарей райкомов и председателя райисполкома с заместителем». Все только руками развели, понимая, что они не смогут сдать хлеб просто потому, что вывезти не сумеют. Но Молотов сказал.

И тогда кто-то предложил промежуточный вариант, спасительный. Ближние к городу районы должны сдать весь хлеб, включая семенной фонд, ничего не раздавать за трудодни, все подчистую вынести. А когда установится путь, дальние районы им вернут зерно. И людей спасли. А Молотов решил выехать в районы, на месте посмотреть и поруководить. На машине поехали в самый близкий район. Но все равно даже на этой дороге, рядом с городом, была грязь. Шофер не удержал машину, и она правыми колесами съехала в кювет. Машину вытолкнули, поехали дальше. А потом, когда через несколько лет начались массовые аресты... Да я, по-моему, перепутал. Дядю посадили, кажется, в 37-м, а вышел в 56-м, так это было, по-моему. Молотов вспомнил про это и рассказал, что это было покушение. Вот таким образом.

Н.Б.-О.: Уже постфактум...

Л.Ж.: Постфактум, да. Тогда сажали множество людей за покушение на Сталина, за покушение на Ворошилова. Было просто неудобно: второй человек в государстве, а на него никто не покушается. И вот Молотов вспомнил, и это было объявлено покушением на Молотова. И моему дяде повезло, что это дело легло на его стол то ли помощника, то ли зампрокурора. Он посмотрел дело, опросил людей и вывел заключение, что не было покушения. Тут было просто...

Н.Б.-О.: Недоразумение.

Л.Ж.: Да. Мелкое дорожное происшествие, каких множество было в то время, да и до сих пор бывает, что водитель не может по грязи выровнять машину. Короче, не было покушения. И тогда его пристегнули

к заговору и арестовали.

” Я спрашивал дядю: «Что ты думал, когда тебя арестовали?» Он говорит: «Я думал, что это ошибка». — «А когда других забирали?» — «Я думал, что это правильно».

Рассказал мне такую еще интересную детальку: в 37-м году их держали в большой камере, камера была человек на пятнадцать—двадцать, но их там было около шестидесяти. Он говорит, что однажды ночью открылась дверь камеры, и туда ввели еще шесть или семь человек, и первым из них шел второй секретарь крайкома. И этот второй секретарь им говорит: «Товарищи, что случилось? Контрреволюционный переворот?» То есть ему казалось, что если его арестуют, то это значит контрреволюционный переворот.

Работа корреспондентом «Крестьянки»

Вообще это было фантастическое время. У меня еще одна была встреча. Я как журналист очень много ездил по стране. Всю страну объездил. Я не был журналистом, но надо было как-то зарабатывать. У меня тогда прозу не печатали, я брал командировки в разных изданиях и больше всего ездил от журнала «Крестьянка». Я не имел отношения к сельскому хозяйству, но этот журнал нуждался в тех, кто будет что-то писать. И поскольку я неплохо писал всякие очерки, они меня любили и без конца посылали по стране. Причем тогда были очень большие командировочные фонды, и были такие забавные вещи, когда меня вдруг, скажем, в начале декабря зовут в журнал и говорят: «Не хочешь куда-нибудь поехать?» Я всегда говорю: «Конечно, хочу». Почему? Что такое для меня поездка тогда была? На работу меня никуда не брали.

Н.Б.-О.: Почему?

Л.Ж.: Я думаю, по анкете. Я был беспартийный еврей, и кому я был нужен тогда?

Н.Б.-О.: Как же вы в литинститут поступили?

Л.Ж.: Это я расскажу, это особая статья. И он мне говорит: «Ну, куда ты хотел бы поехать?» Не помню, что я говорил, иногда я говорил: «В Курск». Я там два года работал в газете в областной, после литинститута, по распределению. Там мои друзья были, и я туда очень охотно ездил. А мне говорят: «Нет, давай куда-нибудь подальше. Вот хочешь поехать на Камчатку?» — «Конечно, хочу». А почему Камчатка? Потому что к концу года оставались в журнале неизрасходованные командировочные. А тогда как было: если не сумеют израсходовать командировочный фонд в этом году, в следующем году неизрасходованные деньги срезают. И все органы печати были заинтересованы полностью израсходовать командировочный фонд. А лучше всего — чтобы даже немножко не хватило. Тогда попросят добавить, и в следующем году он будет больше. В общем, это была нормальная экономика развитого социализма. А для меня это было спасение. Поскольку сидеть в редакции мне не надо было, я был внештатник, мне давали командировку на десять дней, на двенадцать, на две недели. И я две недели где-нибудь в Петропавловке-Камчатском или в Новосибирске, или где-нибудь еще, в Караганде. Я жил в гостинице. Суточные были два шестьдесят, я на эти деньги кормился. Я за три дня писал очерк, за которым меня посылали, а еще десять дней писал собственные рассказы или свою первую повесть. Я очень охотно ездил тогда по стране.

И вот однажды я был в командировке в Алтайском крае. Я уж не помню, то ли это было в самом Барнауле, то ли это было в Бийске, то ли это было в Рубцовске. В общем, я попал в один гостиничный номер с человеком, который тогда мне казался пожилым, ему было лет сорок пять или пятьдесят, а мне двадцать три — двадцать четыре года. И это был спокойный, тихо пьющий человек, с которым мы, естественно, как люди, попавшие в одну гостиничную комнату, в один номер, разговорились. И он мне рассказывал про свою жизнь. Он работал агрономом в совхозе. А в совхоз он попал, когда вышел из лагеря. А в лагерь

он попал, примерно в то же время, когда мой дядя. Но, знаете, кажется, это было не в Алтайском крае, а, кажется, это было в Омске. Потому что, если не ошибаюсь, он работал в Западносибирском крае. Вот тут боюсь ошибиться. Но, в общем, в Сибири. И у них первым секретарем крайкома был кандидат в члены политбюро Роберт Эйхе. Тот самый, чье письмо и заключение зачитывал Хрущев в своем знаменитом докладе, где Эйхе писал о пытках и так далее, о том, как он себя вынужден был оговорить. И вот этот мой случайный сосед был его помощником. Он рассказывал мне, как его арестовали. Я тогда уже писал прозу, рассказы. Меня очень интересовали жизненные детали. И я ему говорю: «Ну хорошо, перед тем как вас арестовали, наверное, арестовывали каких-то других людей?» — «Да, арестовывали» — «Что вы думали?» — «Ну как, я думал, что правильно, что зря арестовать не могут». Я говорю: «И что, вам и в голову не закрадывалась мысль, что это может быть несправедливо?» Он подумал и говорит: «Вот я понял, когда арестовали моего ближайшего друга, Васю Голованова, я подумал, что арестуют и меня». Я говорю: «А почему вы решили, что вас арестуют? Вы чувствовали какую-то вину за собой?» Он говорит: «Нет, ничего не чувствовал. Но если Васю арестовали, то арестуют и меня. То есть я знал, что его не за что брать». И я стал дальше спрашивать: «А что вы делали в последний день перед арестом?». Он говорит: «Моя жена была в партийной командировке. Она должна была приехать вечером. И я хотел поехать встретить ее на вокзале, чтобы с ней проститься». Я говорю: «А почему вы решили, что вас арестуют?» Он говорит: «А я был в это время на работе, — в крайкоме партии, кстати, он работал, — и позвонил домой, а там был сынишка. Сынишка говорит: «Пап, к тебе приходили». Я говорю: «А кто приходил?» — «Какие-то дяденьки». Он говорит: «Я понял, что пришли за мной. И я после работы пошел домой». Я говорю: «А что вы делали?». Он говорит: «А у меня... — тогда выдавали противогазы ответственным работникам. — Я стал запихивать деньги, которые у меня были, в противогазную сумку». Я запомнил эту деталь. И вечером с этой противогазной сумкой он поехал на вокзал встречать жену. И на вокзале его взяли. Дали ему пять лет, потом добавили еще пять, потом добавили еще пять. И как большинство арестованных, он просидел семнадцать лет. Я говорю: «А в чем вас обвиняли?» Он говорит: «Когда меня взяли в первый раз, мне говорили: ты помощник Эйхе, а нам известно, что он иностранный шпион». Он говорит: «Да какой шпион? Он вчера или позавчера делал доклад на Политбюро». — «Не важно, скоро он будет там же, где и ты». То есть Эйхе еще в Москве делал доклад на Политбюро, а уже арестовали его помощника и готовили, видимо, почву для ареста Эйхе. За что тогда арестовывали — спрашивать бессмысленно. Арестовывали не «за что», а «зачем».

Когда я увидел этот убогий холмик на кладбище Донского монастыря, на Донском кладбище точнее, монастырь там рядом, я подумал: действительно, а почему Сталин, незадолго до войны, которая надвигалась, практически обезглавил собственную армию? Во имя чего он шел на это? Я понял, что, во-первых, вина всех этих генералов и маршалов только в том, что заговора против Сталина, в котором их обвиняли, на самом деле не было. В этом они виноваты. Они должны были уничтожить этого усатого предателя — они этого не сделали. И за это страна заплатила двадцатью семью миллионами жизней только в войне.

Н.Б.-О.: Леонид Аронович, мы отклонились от вашей жизни совершенно. От детства, от учебы.

Л.Ж.: Это очень важно, я вернусь к этому. Но их всех обвиняли в троцкизме. Это было тогда общее обвинение. И я подумал, а могли ли все эти командующие Красной Армией не быть троцкистами? Ведь во время Гражданской войны Троцкий был организатором и командующим Красной Армией. Главкомом был бывший царский полковник Семенов, но всех этих военспецов собирал и назначал на должности Троцкий. И конечно же, войну выиграли не Чкалов и Щорс, а выиграли вот эти бывшие царские офицеры, среди которых, кстати, был и отец Бориса Васильева. Они считали, что их долг служить Родине, они пошли служить большевикам, выиграли Гражданскую войну и разгромили интервентов. И вот все старшие офицеры Красной Армии понимали, что войну выиграл, если говорить о людях, Троцкий. А Сталин был просто мелкий партийный чиновник, которого они не могли уважать. И Сталин это знал. И во имя собственной безопасности он уничтожил людей, которые представляли для него потенциальную угрозу. То есть он боялся, что если нет заговора, то он может быть. Вот такая вещь.

ДОВОШНОЕ ДЕТСТВО

Н.Б.-О.: Вернемся к вашей жизни.

Л.Ж.: Вернемся к моей жизни. Значит, что я помню из своего...

Н.Б.-О.: Детства.

Л.Ж.: Детства.

Н.Б.-О.: Голод вы не помните. В 33-м году вам только год был. Вы и в Москве, наверное, вряд ли голодали...

Л.Ж.: Не могу помнить, конечно. Конечно. Москва так не голодала. Голодала деревня, у которой все отбирали.

Н.Б.-О.: Тодоровский рассказывал, как варили суп из веников. Как он видел женщину, которая сидела на дороге с ребенком и ела крысу.

Л.Ж.: Все может быть. Я этого не помню. Я помню только, когда стоял в своих первых очередях. У нас были эти два четырехэтажных, красного кирпича административных корпуса. А напротив, метрах, наверное, в двухстах-трехстах был барачный городок, стояли одноэтажные бараки. Там были свои мальчишки, мы с ними дрались иногда, камнями кидались. И как-то в ларек, который там был, привезли масло.

” А масло давали по пачке в руки, двести граммов. Мама побежала в эту очередь и взяла меня с собой. Почему? Потому, что я тоже был очередант, и мне тоже полагалась пачка в руки.

И я помню, для меня в детстве был праздник, когда откуда-то родители приносили кусок вареной колбасы. Это было еще перед войной. Поэтому, когда говорят, что голод в Советском Союзе был после войны из-за военной разрухи, это неправда.

Н.Б.-О.: В 33-м году голод самый.

Л.Ж.: Этого я не знаю. Но я помню, что в 38-м, 39-м, 40-м году уже был голод. Это я помню. Но, голод, наверное, относительный. Чтобы хлеба не было, я не помню такого, хлеб был. Но масла не было, мяса не было. Ну, поскольку не с чем было сравнивать, конечно, дети это не воспринимали как голод. Что-то ели, какую-то похлебку варили. И я помню, чем мы занимались: на пустыре гоняли в футбол, естественно. В основном были мои ровесники, ребята чуть постарше. В 37-м году мне было пять лет. И вот, помню, мы как-то сидим, группа детишек, и с нами какая-то нянька, молодая деревенская девка. Многие тогда из деревни бежали в Москву от голода. Кем они могли устроиться? Домработницами. Домработница у нас тоже была. Помню, домработница просто становилась членом семьи, потому что она жила так же, как жили ее так называемые хозяева. То же самое ела, следила за детьми. А выхода-то у родителей не было. Ведь тогда отец и мать приходили с работы часов в 10—11 вечера, иногда позже. Тогда ведь день был ненормированный. И на кого было оставить детей? Брали нянь. Тогда как раз были эти процессы 37-го года, и эта нянька, сейчас я понимаю, что это была молодая девка лет, может шестнадцати-семнадцати, а тогда мне казалось взрослая тетя, говорит: «Вот они просят сохранить им жизнь, вон какие хитрые». «Какие хитрые» — это были люди, которых расстреливали по приговору суда, где прокурором был Вышинский, а руководителем этого суда был Ульрих. Я эту фамилию хорошо запомнил, потому что уже потом, после института, спустя много лет, у меня был роман с девочкой, у которой была та же фамилия. Девочка была очень хорошая, участвовала в диссидентском движении, она была внучкой этого самого Ульриха. Такая баечка была, как раньше кто-то говорил из российских дворян, аристократов: «Мы не из тех Муравьевых, которых вы вешали, мы из тех, которые вешали». И вот она примерно так же говорила. Хотя, естественно, к своему деду относилась весьма критически и вообще к советской власти относилась критически.



Леонид Жуховицкий с матерью. Ок. 1934 г.

И второе у меня осталось воспоминание детства — когда был заключен договор о ненападении и даже о дружбе и взаимопомощи СССР с Германией. Этот знаменитый пакт Молотова—Риббентропа. Помню тоже, сидим мы на холмике во дворе с ребятами. Мне было семь лет, но ребята были меня, может, на год постарше. И среди нас был мальчик Вася, который был значительно старше. Ему тогда уже было лет двенадцать. И мы говорим о том, будет ли война. И я как будущий октябренок и пионер говорю: «Конечно, войны не будет. Ведь во всех газетах про это пишут, не будет войны, у нас же мир с Германией». И только Вася, этот деревенский пацан, который приехал в Москву вместе с матерью, мать устроилась дворничихой в наших домах, говорит: «Нет, война будет». Тогда меня поражала эта темнота и глупость деревенских. А потом я стал понимать, что темнота и глупость была качеством как раз городских. А деревенские, пережившие коллективизацию, голод, тотальное разорение деревни, как раз лучше нас понимали подлинную суть так называемой советской власти, которой никогда не было, потому что Советы ничего не могли, никакой власти у них реально не было. Вот такая вещь, которую я запомнил с детства.

Учеба в школе. Военные годы

Н.Б.-О.: А школа? Что у вас осталось в памяти? Учителя?

Л.Ж.: Сейчас скажу. В школу я пошел в каком году? Видимо, в 40-м году. Но поскольку я уже читал, писал, меня отдали сразу во второй класс.

Н.Б.-О.: А кто вас научил читать-писать? Родители или?..

Л.Ж.: Как-то дома сам научился. У меня дома книжки какие-то были, я это все читал. Я тогда уже стихи

сочинял. И я сперва, первый месяц, наверное, очень отставал от старших ребят и огорчался, что меня посадили во второй класс. Сидел бы тихенько в первом, как все. Но потом довольно быстро нагнал своих старших одноклассников и окончил второй класс уже нормально. А между вторым и третьим классом началась война.

Н.Б.-О.: Вы помните это?

Л.Ж.: День начала войны я помню очень хорошо. После того как я окончил прилично второй класс, отец повез меня на море впервые. Поехали мы в город Евпаторию. Тогда это был детский курорт, но, кажется, и до сих пор детский курорт. Мы приехали с ним в Евпаторию в шесть часов утра. Устроились на жительство, видимо, путевки у нас были, да не видимо, а точно были путевки. Тогда была такая гостиница «Дюльбер», которая была превращена, как я сейчас понимаю, в санаторий. И вот я помню, что мы жили в палате, где было шесть человек всего. Какие-то ванны принимали, еще что-то. Это была старая гостиница «Дюльбер», с большими окнами, с лепниной, и она была недалеко от набережной. Мы еще не знали, что в четыре часа началась война. И днем вдруг быстро разлетелся этот слух, что началась война, что было выступление Молотова. Я помню, что в первый день войны я там познакомился с мальчишками примерно моих лет, может, старше на два года. И ночью мы с ними полезли на крышу санатория. Не помню, каким путем мы туда пролезли, и в эту ночь немцы бомбили Севастополь. У меня осталось в памяти, что мы видели пожар над Севастополем, зарево. Возможно, мы толком ничего не видели, просто нам казалось — мы смотрели на юг, в сторону моря, — что мы видим Севастополь. Потому что я не знаю, сколько до Севастополя от Евпатория. Наверное, километров пятьдесят минимум.

Н.Б.-О.: Дальше, кажется.

Л.Ж.: Может быть, дальше. Мы могли ничего не видеть, но в этом возрасте, когда очень хочешь что-то увидеть, то и увидишь. Еще говорили о том, что над Евпаторией летел немецкий самолет, прожектора его взяли в крест и якобы сбили. Что было на самом деле, не знаю. Крым тогда был крымско-татарской автономией, и радио говорило по-татарски. Тогда на столбах висели черные картонные репродукторы. Помню, толпа около этого черного репродуктора, и там что-то говорят по-татарски. Но это был уже не первый, не второй день войны. День четвертый, может быть. Потому что о чем я тогда думал — я думал, что вот сейчас, как писали об этом в разных повестях в журнале «Пионер», наши войска во главе с первым маршалом Климом Ворошиловым разобьют немцев и пойдут на Берлин. Известия по-татарски говорили в репродукторе, и кто-то переводил, что наши оставили прибалтийские города, Вильнюс, Каунас, еще что-то. И все.

” И последнее сообщение, которое было, что к западу от Минска наши войска вступили в танковые сражения с немцами. Я помню, это было последнее сообщение с фронта. После этого не сообщали ничего до самого сражения под Москвой.

Н.Б.-О.: А вы оттуда не пытались выбираться? Отец же, наверное, был военнообязанный.

Л.Ж.: Был военнообязанный, и мы через несколько дней, дня через четыре, поехали в Москву. Причем как мы ехали — билеты были без мест, и на нижней полке плацкартного вагона сидели на каждой лавке четыре или пять человек — сколько вмещалось. Меня отец уложил на вторую полку. Я помню, что ночью — я это плохо помню, мне уже рассказали, — я со второй полки свалился на шею дремавших на первой полке. Как-то меня там опять водрузили на эту полку, чем-то подоткнули. И я, главное, упав, даже не проснулся. В то время я спал гораздо лучше, чем сейчас.

Мы приехали в Москву, и дальше началась военная жизнь первых месяцев войны. Но странная жизнь. Потому что Совинформбюро ни о чем практически не сообщало. Просто говорили: «Наши войска вели ожесточенные оборонительные бои на минском направлении». Мы понимали, что война приближается к Минску. Потом: «Наши войска вели ожесточенные бои в смоленском направлении». Значит, Минск

уже сдан. И вот так шло и шло, а потом Москву стали эвакуировать.

Н.Б.-О.: А отец оставался в Москве?

Л.Ж.: Отец тогда оставался в Москве. До августа, по-моему. Дело в том, что шарикоподшипниковый завод — это был военный завод, от которого зависела вся армия. Подшипники выпускал только этот завод. Еще был Второй ГПЗ, маленький заводик, тоже выпускавший подшипники. Но всю армию — танки, автомобили, все — снабжал подшипниками Первый ГПЗ. Он был абсолютно незаменим. Тогда было такое понятие, как бронирование, когда каких-то людей закрепляли за заводом. Это могли быть и инженеры, и техники, и квалифицированные рабочие.

Потом, что я помню: мы несколько дней жили на нашей даче. Не помню, сколько, неделю, полторы, две. Я помню тогда две вещи. В городах оклеивали окна бумажными полосками, чтобы при попадании бомбы где-то недалеко осколки стекла не поранили людей. Считалось, что эти газетные полоски, которыми оклеивали окна, эти мелкие осколки более-менее удержат. И второе: на даче, точно помню, рыли так называемые щели. Это была узкая канава, желательна глубокая, куда при объявлении бомбежки надо было спрятаться и лечь. Считалось, что взрывная волна пройдет над этой щелью, и ты останешься жив. Тогда все так было. Ведь не было гранат, скажем, у бойцов даже. Были коктейли Молотова, то есть бутылки с горючей смесью. Какие-то бутылки, которые делались для водки или портвейна, заливали туда бензин, керосин. И считалось, что этим можно поджечь немецкий танк. Я помню, что у нас была в огороде такая вырытая щель. Потом я уже помню, как нас с матерью посадили в эшелон, который шел на восток. Я, естественно, уезжать не хотел.

Эвакуация

Н.Б.-О.: В эвакуацию отправили.

Л.Ж.: Да. Я не хотел уезжать. И все говорил матери: «Да куда мы поедem, да зачем?» Но самое-то интересное будет когда — оборона Москвы. Мы не думали, что немцы дойдут до Москвы. Все мальчишки в ту пору были очень воинственны. Потому что и повести в журнале «Пионер», и кинофильмы типа «Если завтра война» воспитывали в нас героизм. Надо бежать на фронт и сражаться с врагами. Правда, была такая сложность, что до войны — я прекрасно помню эти довоенные песни, там были такие слова, сталинский лозунг: «И на вражьей земле мы врага разгромим беспощадным могучим ударом». Стратегия Красной Армии заключалась в чем — Сталин сформулировал: надо бить врага на его территории. Это была его гениальная стратегическая формула. Но когда немцы взяли Минск, уже шли бои на смоленском направлении, Сталин выдвинул другую военную доктрину, тоже гениальную: «Надо бить врага на своей территории». И вот тогда мы стали мечтать о том, как бежать на фронт и бить врага на своей территории. Но как выяснилось, тогда я этого не знал, потом уже мне взрослые рассказали: если кто-то уклонялся от эвакуации, этот человек считался неблагонадежным, его запросто могли замести в тюрьму.

Считалось, что если ты не хочешь уезжать, значит, ждешь прихода немцев. Это была четкая логика. В течение многих лет после войны, до хрущевского времени в анкетах была...

Н.Б.-О.: Где ты был во время войны, да?

Л.Ж.: Нет. Был ли ты в оккупации и были ли твои родственники в оккупации. То есть даже если родственники были в оккупации, этот человек был неблагонадежен. Он не хотел уйти от немцев.

” Мы-то считали, что героизм в том, чтобы остаться в Москве, — оказывается, нет. Подлинный патриотизм был в том, чтобы уехать в эвакуацию.

В общем, нас погрузили в поезд, который тогда назывался эшелон. Там самые разные люди были, в этом поезде.

Н.Б.-О.: Вы вдвоем с мамой? Или домработница тоже с вами была?

Л.Ж.: Нет, к тому времени домработницы у нас уже не было, она, видимо, уехала к себе, она была, по-моему, из Чувашии. Я помню только станцию, где она жила, называлась Ковылкино. А мы с мамой поехали. Я помню, что с нами в одном отсеке вагона был мой ровесник Мишка Водопьянов, сын знаменитого летчика Водопьянова, я поэтому запомнил его фамилию. И меня в какой-то мере даже удивляло, я гордился, что я подружился с сыном этого великого летчика, Героя Советского Союза.

Н.Б.-О.: А куда вас отправили, в какой город? В Куйбышев?

Л.Ж.: Нет, мы поехали в Новосибирск, где жил мой дед, отец моего отца.

Н.Б.-О.: Как его звали? Помните?

Л.Ж.: Я помню, что его звали Фаддей, такое старинное имя — Фаддей. И он жил тогда в Новосибирске, недалеко от центра города, как сейчас помню, это была улица Дзержинского. Там недалеко был огромный, по-моему, еще недостроенный новосибирский оперный театр. И целый большой район деревенских домишек, избушек с огородами, и у деда была такая же избушка. Мы с мамой там поселились, и в Новосибирске я начал ходить в третий класс. Отец в это время ушел в ополчение. Когда немцы взяли Смоленск, в Москве была запись в ополчение. Я не знаю, что тогда с этой бронью, видимо, какое-то послабление было. Поскольку немцы подходили, всех, кто хотел, брали в ополчение. И взяли моего отца.

Н.Б.-О.: А он был партийный?

Л.Ж.: Нет. Его спасло, кстати, то, что он был беспартийный. Вот дядя был партийный, просидел девятнадцать лет. Отец был беспартийный, а беспартийных почему-то тогда меньше брали. Видимо, потому, что, во-первых, всех партийных с дореволюционным стажем арестовывали. Кто еще помнил, кем был Сталин тогда. А он был никем, это все помнили. И помнили реальную расстановку сил в партии — их всех можно было поголовно обвинять в троцкизме, их и обвиняли. А беспартийные, не знаю почему, представляли меньший интерес. Наверное потому, что на всех более или менее важных должностях были партийные. И доносчики, чтобы освободить путь для своей карьеры, убирали всех, кто занимал более или менее привлекательные места. Ну, а рядовой инженер, что в нем было привлекательного? Это же не начальник. Так что...

Н.Б.-О.: Возвращаемся в Новосибирск. Отец в ополчении, вы в Новосибирске.

Л.Ж.: Отец в ополчении, а мы приехали в Новосибирск, и мы там жили у деда месяца два или три. А потом получилось вот что: ополчение московское дошло только до Вязьмы. Почему до Вязьмы? Потому что когда всех желающих взяли в ополчение, обескровили военные заводы, работать стало некому. Кто шел в ополчение? Всех более-менее молодых забрали в армию в первые же дни войны. А в ополчение уже шли те, кого не взяли в армию. Кто это был? Отцу было тогда сколько? Он 1901 года, ему шел сорок первый или сорок второй год. Он был из-за плоскостопия негоден в мирное время и условно годен в военное. Ну, в ополчение тогда брали всех. Брали инженеров, брали близоруких, брали кадровых рабочих. А подшипники делать могли только кадровые рабочие. Нельзя было взять малолетку пятнадцатилетнего, поставить за станок, и он станет вытачивать эти шарики или ролики. Оказалось, что военные заводы практически переставали работать. Поэтому всех, кто был с военных заводов, срочно отозвали из ополчения. Отца тоже отозвали и, по-моему, именно тогда его забронировали. То есть он стал придатком к Первому ГПЗ. Никто из работников военных заводов не мог собой распоряжаться, и если даже он бежал на фронт, его считали дезертиром. Потому что он нужен родине на этом своем посту. А что стало с ополчением, я уж потом, много лет спустя узнал, отец чудом остался жив. Боря Васильев, он сам был смоленский. И ему повезло, что они с отцом перед войной на велосипедах объездили все окрестности Смоленска. Отец был офицер царской армии, потом Красной Армии, и они очень любили эти велосипедные поездки. Боря хорошо знал леса Смоленской области. И он там попал в окружение.

И он...

Н.Б.-О.: С отцом вместе?

Л.Ж.: Нет. Отец где-то в другом месте воевал. И Боре удалось выйти самому и вывести группу солдат из окружения, потому что он знал все дороги-тропинки.

Н.Б.-О.: Сколько же ему лет тогда было?

Л.Ж.: Сейчас скажу. Ему в следующем году должно быть девяносто. Значит, он 1924 года. Считайте, в 1941 году ему было семнадцать лет. Но тогда брали, уже десятиклассников брали в армию. Он был ранен, но сумел выйти из окружения. И вот он рассказывал, что под Вязьмой, уже после войны, он бывал в тех местах, потому что не порывал со Смоленском. Там обнаруживали братские могилы.

” И вот там нашли одну из могил, где было множество очков. Там погибло московское ополчение, в основном очкарики. Люди, не приспособленные к военной службе, немолодые и близорукие.

Такова была участь московского ополчения, кроме тех, кого отозвали на военные заводы. Помню, даже после войны людей далеко не сразу отпускали с этих заводов. Например, мы с матерью уехали раньше, где-то в году, по-моему, в 44-м... Нет, сперва мать уехала.

Н.Б.-О.: Из Новосибирска?

Л.Ж.: Из Томска. Ну ладно, по порядку. Получилось вот что: шарикоподшипник эвакуировали сразу в несколько городов. Большая часть завода поехала в Куйбышев, еще одна часть поехала в Томск, потому что тогда не было вообще известно, куда дойдут немцы. И отца, поскольку он был инженер-строитель, с первым эшелонам отправили в Томск. Он должен был там строить заводские корпуса сразу же, с колес ставили станки и начинали работать. До зимы можно было даже на улице под навесом, но надо было все это строить. Его назначили начальником УКСа — это Управление капитального строительства, хотя он был и инженер-строитель и инженер-механик. Но тогда первое, что надо было сделать, — запустить завод. Нельзя было останавливать надолго производство, без подшипников армия бы погибла. Дело в том, что огромная часть нашей артиллерии, как сейчас уже об этом пишут много, в первые недели, месяцы войны попала к немцам. Множество танков наших было уничтожено и тоже попало к немцам. По самолетам у нас было, как и по танкам, огромное преимущество над немцами. Но часть самолетов была уничтожена на аэродромах в первые дни войны, часть самолетов сбивали, много сбивали самолетов. Почему? Потому что у нас плохо готовили летчиков. Им давали азы, у них был очень маленький налет. А немецкие летчики, у них во время обучения налет был чуть ли не в десять раз больше. И поэтому получалось, что наши лучшие летчики сбивали... Я помню до сих пор эти цифры: Покрышкин сбил 59 немецких самолетов, Кожедуб сбил 62. А какой-то немецкий ас сбил 350 советских самолетов. Не потому, что немцы были талантливее как летчики, а просто потому, что там своих авиаконструкторов ценили, а у нас Туполев сидел в тюрьме, как известно. Это первая была причина. Даже Покрышкин, как мы только недавно об этом открыто объявили, воевал на американском самолете «Кобра». А у нас все время говорили и писали, что он воевал на «Лавочкине». Истребитель Лавочкина был хороший истребитель, но американский был лучше. Получалось так, что немецкие летчики, у которых был большой налет, хорошо владели самолетом, легко сбивали наших новичков.

И срочно были необходимы тогда подшипники. И вот на военных заводах — видимо, тогда выхода не было — ввели настоящее крепостное право. То есть инженеров и кадровых рабочих практически закрепощали. В Томске ты работаешь, и ты собой не распоряжаешься. Допустим, если хочешь вернуться в Москву, какая-то вышестоящая организация должна тебя вызвать. Мать так вызвали в Москву, она уехала раньше, где-то в 43-м году. А в 44-м...

Н.Б.-О.: Вы из Новосибирска переехали к отцу в Томск?

Л.Ж.: Мы переехали к отцу в Томск. И туда к нам приехала бабушка из Киева. Она сначала уехала из Киева со своей младшей дочерью, моей теткой, тетей Klarой. А потом приехала к нам в Томск и жила с нами в Томске.

Н.Б.-О.: Но она при немцах не была в Киеве?

Л.Ж.: Нет. Ее бы там, естественно, просто убили бы. Теткин муж тоже был военный инженер, по-моему. Его тоже куда-то эвакуировали. Его перевели с заводом куда-то, и тетка не с нами жила — я уж не помню, где она жила. Мы оказались в Томске, и в Томске разместили подшипниковый завод в военном городке. Там, на окраине Томска, рядом с речкой Ушайкой, был военный городок, поселок, где стояли красные кирпичные дома. Там тоже, видимо, военные до нас жили. Там довольно быстро организовали цеха, поставили станки и начали опять выпускать подшипники.

Кстати, во время моих поездок журналистских, я однажды оказался в номере с полковником, как он тогда назывался, уже это было КГБ, Комитет госбезопасности. Во время войны, наверное, называлось НКВД. И он мне рассказал, что он один раз видел Сталина. Его вместе с его начальником ночью вызвали к Сталину, ввели в кабинет к Сталину, он говорит: «Вы знаете, что такое Шостка?». Ему говорят: «Город на Украине».

Н.Б.-О.: Там пленку делали, да?

Л.Ж.: Шостка — это пороховые заводы. Так вот, немцы взяли Шостку. Без пороха мы не можем, мы погибнем. Вам один месяц на то, чтобы организовать производство пороха. И, как говорится, карт-бланш, делайте, что хотите. Что они сделали, почему это поручили НКВД — в течение одной ночи по списку они арестовали несколько десятков ученых и инженеров химиков, вывезли в какой-то из наших концлагерей. Там им предоставили относительно человеческие условия, то есть теплые домики.

Н.Б.-О.: Ну как шарашка.

Л.Ж.: Как шарашка, да. И в течение месяца они развернули там химическое производство, где работали заключенные, а руководили эти арестованные инженеры. По какой статье их арестовали, совершенно не известно.

Н.Б.-О.: Зачем надо было арестовывать, нельзя в командировку просто было [послать]?

Л.Ж.: Нельзя было. Как было ученого, доктора наук, в течение суток отправить в командировку? От семьи оторвать, от дома, от работы. Фактически это была форма мобилизации. Но когда человека арестовывали, во-первых, не требовалось ему заранее создавать какие-то условия. Если в командировку, то там предоставить жилье, еще что-то, семью. А тут ничего. Потом арестованный человек совершенно беззащитен и беспомощен. И он благодарен уже за то, что ему дают теплую комнату, кормежку, и он не лез валит, а занимается своим делом. То есть занимается химией. Вот такие шарашки. Ну а почему Солженицын описывает эти шарашки? Почему, например, в шарашке работал тот же Королев, тот же Глушко, бывший, по-моему, начальник у Королева. Тот же Туполев. Да потому, что человек, что называется, вольнонаемный, у него есть, пусть скромные, но требования. Его защищает хоть лживый и убогий, но закон. Он на что-то имеет право. А заключенный ни на что не имеет права. Можно заставляет его работать по двенадцать, по восемнадцать часов в сутки. За лишний кусок хлеба он будет делать все что угодно. Его надо просто выжать. Вот такая вещь была.

Н.Б.-О.: Ну и возвращаемся в Томск.

Л.Ж.: В Томске я заканчивал третий класс. И в Томске самая страшная зима была — это зима 41—42-го года. Томск — город очень холодный, там зимой морозы за 40 — это норма. Но самый кошмар — это был, конечно, голод. Мы оказались там в 41-м году, я не помню, какой это был месяц. Но первые дни, когда мы еще в школу ходили, нам в школе выдавали по белой булочке и, кажется, по конфетке. То есть еще какие-то запасы были. И тогда же осенью предложили рабочим и инженерам нарезать землю под огороды. Две сотки, три сотки. И я помню, что инженеры и жены их, хотя жены тоже работали,

отказывались с возмущением, говорили: «Нас хотят тут закабалить! Нет! Скоро немцев разобьют, и мы хотим вернуться домой, в Москву».

” **А зимой пришел постепенно жуткий голод. Еды не было. Был черный хлеб, очень плохого качества. Его и хлебом-то назвать трудно.**

И хлеб этот давали рабочим 800 граммов, служащим, то есть инженерам и прочим по 600 граммов, детям по 400 граммов, иждивенцам, то есть старикам, по 300 граммов. Потом карточки были. Карточки были на масло, на мясо, на сахар. Но поскольку мяса не было, вместо мяса — к счастью, тогда уже мы заключили договор о взаимопомощи с Америкой, и стали присылать американский яичный порошок. Его выдавали вместо мяса. Еще выдавали ветчину в банках, но это редко было. У меня до сих пор ощущение, что это вкуснейшая вещь. Я не помню, когда еще что-то такое вкусное ел. Еще очень вкусный был жмых, которым где-то (*посмеивается*) с ребятами разживались. Уж не помню где, воровали где-то. Жмых идет на корм скоту. Когда отжимают, скажем, подсолнечник, чтобы получить подсолнечное масло, остается масса, из которой выжато масло, называется жмых. Но теперь вряд ли я бы стал это есть, даже в рот не взял бы. А тогда это было лакомство своеобразное. А вместо сахара давали, у нас это называли «малясы». Это когда варят сахар, остаются отходы: жидкая, довольно густая масса, — ее выдавали вместо сахара. Очереди были огромные, не всем хватало даже по карточкам.

Зимой развивалась меновая торговля, которая нас в какой-то степени спасла. У нас был самовар, привезли из Москвы. С этим самоваром, отец, еще группа инженеров, поехали в деревню и меняли на картошку что-то. За самовар, если не ошибаюсь, дали, по-моему, шесть ведер картошки. И эта картошка нас зимой спасла. Но шесть ведер — этого было маловато, а у меня еще был велосипед «Орленок». Этот велосипед мы тоже свезли на толкучку и поменяли тоже на картошку. Какой-то местный парень, постарше меня. Мне было девять лет, ему было лет четырнадцать, деревенский боевой парень, взял этот велосипед, расплатился за него картошкой, тоже шесть или восемь ведер, я уж не помню.

” **У нас в комнате был отгорожен угол деревянной оградкой. Наверное, сантиметров восемьдесят в высоту. И там была свалена картошка. И мы всю зиму картошку перебирали, чтобы она вся не сгнила. Хранить больше было негде, мы хранили только там.**

У нас была печурка, каким-то образом отец эту печурку соорудил, мы ее топили кое-как. Уголь тоже был, в другом углу лежал уголь. Вот так мы зимовали. Причем это была квартира двухкомнатная. В двух комнатах жили мы вчетвером, еще бабушка туда приехала. А кухню отдали двум работницам. У одной из них, помню, фамилия была Мельникова, и она за ударный труд получила орден Ленина. Такая знаменитая девушка с нами жила. Очень хорошие молодые женщины. Я не знаю, сколько им лет было, лет по двадцать пять, наверное. Для меня они все тогда были взрослыми. Водопровода в домах не было, и мы ходили на колонку, оттуда таскали ведра. Это была моя обязанность. В девять-десять лет уже мы таскали по два ведра.

Н.Б.-О.: А мама работала тоже?

Л.Ж.: Конечно, конечно, работала. Был ненормированный рабочий день, в 11 приходили, в 12, — сколько надо было. Только много лет спустя, уже в Москве, мне объяснили, почему было такое странное решение. Почему иногда утром отсыпались, шли на работу, скажем, к 11, а работали до 12 ночи, особенно инженерный состав. Все зависело от одного человека: Сталин был по натуре соевой, он поздно вставал и поздно ложился. И где-то в два, в три часа ночи запросто мог позвонить какому-то наркому. Потом их стали звать министрами. Мог задать любой вопрос. А как нарком ответит на вопрос? Он звонил своему заму или начальнику отдела, начальник отдела звонил инженеру, который этим занимался, и получалось,

что пока Сталин не ляжет спать, не ложились спать министры, замы, заводделами, инженеры и так далее.

” И это длилось до самой смерти усатого. Когда он умер, это просто революция была: постановили, что рабочий день кончается в шесть вечера. Люди до шести работают. Многие работники, привыкшие к этому режиму, засиживались на работе, не могли уйти.

Они должны были сидеть, пока от Сталина к ним не придет запрос или что-то такое. Вот так это было.

Мы, естественно, росли во дворе. Во дворе у нас была очень большая компания. Собственно, все ребята, которые жили в военном городке.

Н.Б.-О.: Все эвакуированные, да?

Л.Ж.: Да, все эвакуированные. Видимо, потом какую-то часть набирали из местных, у местных было жилье. Но шло уплотнение. Сначала мы жили в деревянном домишке, уплотняли местное население. То есть домик, в котором три комнаты, семью владельцев загоняют в одну комнатку, а две другие отдают семьям эвакуированных. И поэтому к эвакуированным отношение было плохое. Это люди, которые черт-те откуда приехали, захватили наши дома. В общем, как сейчас к мигрантам. Да мы ж, фактически, и были мигрантами. Потом, уж не знаю, куда девали гарнизон, может, на фронт отправили, может, куда-то перевели. Нас расселили в военном городке. И еще я помню, что у нас не было электричества. Сеть была, но не горело. Опять-таки отец как инженер-механик добыл и отремонтировал списанный аккумулятор, и маленькая лампочка горела. А до этого я уроки делал и читал при коптилке. А что такое была коптилка? Коптилка — из горючего материала. Тогда можно было купить в аптеке рыбий жир. Его давали детям, я его, кстати, довольно легко ел. Многие дети не могли его есть, их рвало, я спокойно ел. И даже для меня картошку жарили на рыбьем жиру. И этот рыбий жир наливали в блюдечко, фитилек укрепляли и поджигали. И постепенно жир горел. Какой запах был — другой разговор, но поскольку для меня это была норма, я не вспоминаю это как некие ужасные времена. Для меня это были нормальные времена.

Плохо было другое. Плохо было то, что начались болезни. Я заболел брюшным тифом. Помню, с чего это началось. Сперва думали, просто грипп, простуда. Я лежу в кровати, мне девять лет. Мы жили на третьем этаже, а на втором жили две семьи, и был такой парень, мой ровесник примерно, на полгода младше, Игорь Захарьев. Вот этот Гарик ко мне пришел, о чем-то мы с ним разговаривали, и меня начало трясти. Трясет и трясет, не могу остановить тряску. Тогда он мне говорит: «А давай померим температуру». — «Давай». Взяли термометр, я поставил термометр, и на обед в обеденный перерыв приходит отец. Он как взял термометр, посмотрел, положил термометр, схватился за голову и говорит: «41 и 2». Тут пришла тоже на обед мать, отец говорит: «У него 41 и 2». Мать говорит: «Зачем ты ему сказал?»

” Тогда было такое у нас правило: когда человек болеет, ему не надо говорить, что с ним все плохо, надо говорить, что все хорошо. А я, наоборот, жутко возгордился, такой температуры ведь ни у кого не было. У меня 41 и 2. Оказалось, что у меня брюшной тиф...

Это потом, правда, выяснилось, сперва думали, что это грипп. Врачиха из местной поликлиники она сразу сказала: «У вашего мальчика тиф». Но родители не хотели в это верить, привезли из клиники профессора Сибирцева... Там была местная клиника. Естественно, на телеге привезли доктора Хохлова, который был главврачом клиники. И он сказал: «Это грипп». И это полностью устроило моих родителей. Но когда температура стала 41 и 2, еще кого-то, я уж не помню, потому что стал сознание терять, привезли, оказалось, что это тиф. И меня отвезли, опять же зимой, на лошади, в больницу, называлась она Клиника

доктора Сибирцева. Это был тогда еще живой знаменитый местный врач, с большой бородой. Тогда было модно называть больницы по имени главврача. Как театры называли: театр Мейерхольда, театр Вахтангова и так далее. И вот я помню, как меня положили в палату с другими детьми. А потом я перестал что-либо помнить. Видимо, уже был без сознания. И только помню, как меня из одного корпуса, зимой, по снегу, на каталке, привозят в другой корпус. Помню, открыл глаза: снег, небо, и куда-то меня везут. Оказалось, что у меня параллельно с тифом было двухстороннее воспаление легких. Это страшное дело. И матери сказали врачи: его может спасти только сульфидин. Тогда было новое лекарство, которое вроде бы помогало при сильных простудах.

Н.Б.-О.: А тогда антибиотики были уже?

Л.Ж.: Нет, еще не было. Антибиотики появились позднее, по-моему, в конце войны. В Англии они уже были, кажется, с 42-го года, у нас появились позднее. И потом целые истории были, когда посадили доктора Раскина и его жену, обвинили в том, что они якобы рецепт антибиотика передали за границу. Это полнейшее вранье, потому что, наоборот, к нам из-за границы пришел пенициллин. Мать побежала. Где можно было достать этот [сульфидин]? Только в госпитале. А госпиталей было несколько в Томске. И она на улице случайно встретила врача, своего друга молодости. Я даже не помню, как его звали. Она идет, вся в слезах, и он повел ее в госпиталь и дал ей полтора грамма сульфидина. Это уже на два дня отодвинулась смерть. Стали мне колоть сульфидин. А потом она то ли с помощью этого же человека, то ли еще где достала пару граммов. Короче говоря, сбили температуру эту страшную, и я выкарабкался. Но ничего толком не помню, я только потом помню, когда уже очнулся. Но для меня было как уснул и проснулся.

И лежат там со мной какие-то ребята, и уже пошло дело на поправку. Проболел я сорок пять дней. А потом заболела мать, тоже брюшным тифом. И она проболела пятьдесят четыре дня. У нас в нашем военном городке, где жили работники шарикоподшипникового завода, была вспышка тифа, одновременно заболело около тридцати человек. Какая-то комиссия приходила, и решили, что мать заразилась от меня, что я был бациллоносителем. Конечно, это была полная глупость. Когда сразу тридцать человек болевают, что-то, видимо, связано либо со столовой...

Н.Б.-О.: С водой.

Л.Ж.: ...еще там с чем-то. В общем, мать проболела пятьдесят четыре дня, дольше, чем я, но, слава богу, выжила. Но была одна страшная проблема. После брюшного тифа нельзя есть никакой грубой пищи. Можно чем в больнице кормили: манная каша, в небольших количествах толченая картошка, ни масла, ничего не было, и белые сухари. А где взять белые сухари? По карточкам дают только черный хлеб. Никакой манной каши тоже, естественно, не было. И вот я помню, меня спасла врачиха, которая приходила меня лечить, уж не помню, откуда у нее — то ли выдавали где-то в больнице — белый хлеб. И ей мои родители отдавали черный хлеб, который получали по карточкам, а для меня брали белый хлеб, сушили, и были эти белые сухари. А дело в том еще, что во время тифа человек теряет колоссальное количество сил и вес. Помню, когда мать приехала меня забирать из больницы, я ходить не мог. И меня две медсестры под руки вывели в коридор, я попытался к ней побежать и упал. У меня даже ноги буквально просвечивали, такой был тощий. А аппетит после этой болезни страшный. И вот, помню, вечером, при копилке, родители сидят и едят оладьи из картофельных очисток. Тогда очистки не выбрасывали, из них жарили или варили оладьи.



Я смотрю на них, есть безумно хочется, но мне нельзя. Потому что если я поем, такая болезнь была — возвратный тиф. Когда возвращается этот самый тиф. И помню, что я заплакал. Слезы текут, а родители мне эти оладьи из очисток дать не могут.

Я не помню, где они брали очистки, даже не знаю. Может, в столовой заводской, может, еще где. В общем,

такая жизнь была.

Еще помню, чем мы спасались. Как-то отец с несколькими еще инженерами подводу где-то заказали, кажется, и поехали в лес кедровый бить шишки. В Сибири довольно много кедра. И вот сбивали палками длинными кедровые шишки, а в них орешки. Из этих орешков иногда делали кедровое масло, но у нас просто это было и лакомство такое, и вообще очень полезная вещь — кедровые орехи. Это тоже помогло нам выжить.

А следующей весной, 42-го года, уже никто не отказывался от огородов, и все мы вскапывали свои огороды. Помню, как мы их вскапывали. Более того, вся территория военного городка, где стояли дома красного кирпича, вся эта территория была раскопана под огороды. Сажали картошку и капусту. Причем картошку не сажали клубнями, как сейчас. Клубни съедали, а сажали очистки с глазками. Когда проросла картошка, срезали верхнюю часть с очистками, картошку съедали, а очистки сажали. И сажали капусту. У нас близко от берега Ушайки был огород, сотки полторы, наверное, может, две. Там мы посадили капусту. И меж грядок фасоль. Капуста там замечательная выросла, там влаги много было, сырая земля. И вот уже на следующую зиму у нас была квашеная капуста, и мы всю зиму ели щи, с тех пор я их долго ненавидел. Каждый день были щи, без мяса, без жира, без всего. А на другом огороде была картошка. И вот это дело нас уже тогда от голода спасло. Видимо, вся страна тогда жила огородами. Вот так это было.

Учился я уже нормально, даже хорошо. Я был в четвертом классе уже самым лучшим учеником, поэтому со мной рядом посадили за одну парту двоечника по фамилии Дюртайкер. Здоровенный парень, второгодник. И он у меня все время все списывал. И поскольку он у меня списывал, я был ценным кадром, и он за меня заступался. Я был самым младшим в классе, потому что пошел сразу во второй класс. То есть другим ребятам было по двенадцать лет, иногда по тринадцать, а мне было десять. Но поскольку у меня была такая защита в лице этого парня, который рядом со мной сидел, я-то жил неплохо. Помню, нас гоняли, школьников четвертого класса, на железнодорожную станцию зимой разгрести снег, потому что там заносило пути. И вот мы лопатами сгребали снег. Этот мой сосед меня в свою бригаду не брал, потому что я был слишком маленький. А у него была бригада из старших ребят, они хорошо работали, их хвалили. А я был с теми, кто послабее, поменьше, похуже. Вот это я помню.

Помню, как мы разучивали новый гимн. Это был первый михалковский гимн. На самом деле, как потом выяснилось, он был не первым. То есть первым был не михалковский, а мальчик-школьник, забыл его фамилию, он потом был довольно известным переводчиком, написал стихи гимна и какая-то девочка, тоже школьница, написала музыку. Это напечатали в журнале «Пионер». А потом, когда уже объявили конкурс на новый гимн, который бы учитывал великие достижения Сталина, Михалков взял этот гимн, как-то переделал, и уже пошел михалковский гимн. Естественно, Михалков был профессионал, наверное, как-то улучшил этот текст.

Н.Б.-О.: То есть это не он сам писал гимн, получается?

Л.Ж.: Первоначально это написал какой-то мальчишка.

Н.Б.-О.: Он по мотивам потом уже писал.

Л.Ж.: Он как детский поэт, конечно, читал журнал «Пионер», наверное, даже выписывал. Взяли за основу, переделали. Он писал не один, он писал с Эль-Регистаном, был такой журналист. Потом Эль-Регистан выпал из памяти народной, а Михалков остался. И даже есть такая байка. Он же был не глупый человек. Когда их позвали к Сталину, уже гимн утвердили, курировал их Ворошилов, образованный человек, все-таки три класса у него было. И когда гимн наконец приняли и Сталин спросил Михалкова: «Что вы хотели бы получить за вашу работу?» — хитрый Михалков сказал: «Я хотел бы получить вот этот карандаш, которым вы вносили правку в текст». Но он получил карандаш и еще много чего. Это был замечательный человек, потому что при всех правительствах он всегда был придворным поэтом. И бесконечные новые варианты гимна все время сочинял он. Ну бог с ним, его уже нет в живых.

Н.Б.-О.: Я тут недавно прочитала книжку о семье Михалковых. Автор этой книжки, журналистка малоизвестная, пишет, что он очень многим репрессированным помогал. И он и Наталья Кончаловская.

Помогали с квартирами, у них даже на кухне жил кто-то из людей из лагеря, негде было людям жить. Он был человеком в этом смысле порядочным.

Л.Ж.: Он не был зверем, не был негодяем, он был нормальным умным трусоватым человеком. И о нем как вот о человеке отзываются вообще неплохо. Когда он был руководителем союза, он действительно, если мог помочь без всякого ущерба для себя, помогал. И когда возвращались репрессированные из лагерей — но тогда помогать репрессированным было уже абсолютно безопасно. И он был не из той когорты действительно честных и мужественных интеллигентов, которые помогали гонимым. По-разному помогали. Допустим, когда шла речь о том, печатать или не печатать Солженицына, Твардовский попросил написать внутренние рецензии Чуковского и Маршака, и они написали. И это помогло напечатать «Один день Ивана Денисовича». Когда надо было заступиться за Бродского, за него заступались те же Чуковский, Маршак, Эренбург, Паустовский, Вигдорова и еще какие-то люди. Вигдорова даже, по-моему, вела протокол судебного заседания, который потом разошелся по рукам. Если я не ошибаюсь, это была Вигдорова.

Н.Б.-О.: Когда судили Бродского, да?

Л.Ж.: Да. Михалков, наоборот, скажем, когда было судилище, перед тем как выслали Солженицына... Михалков сказал, что это «литературный сорняк», какие-то статьи писал против него. Там, где ему полагалось по должности и по положению быть гонителем, он был гонителем. Но когда он мог в безопасности для себя помочь кому-то, он помогал. Действительно, так оно и было.

Н.Б.-О.: Как тогда, если он был таким трусоватым, мог жениться на Наталье Кончаловской, у которой биография была совершенно неподходящая?

Л.Ж.: Почему? Она была дочь великого художника.

Н.Б.-О.: Который любил Париж, и вообще, по-моему...

Л.Ж.: Что с того? Кончаловский был великий художник, и это была такая...

Н.Б.-О.: Элита.

Л.Ж.: Да, элитная семья. Михалков сразу вошел в элиту этой своей женитьбой. Не было такого, что он ее осчастливил. Наоборот, он пошел в зятя. Она была внучкой Сурикова, а уж куда выше? Когда Сталин сказал, перечисляя великих деятелей России, из художников — Репин и Суриков. Нет, как раз ее предки здорово защищали. Кончаловская совсем не была гонимой. Она даже Сталинскую премию получила за что-то. Нет, она была в большом порядке, из старой московской культурной семьи. В какой-то телевизионной говорильне я оказался рядом с женщиной, которая мне рассказала, что один известный журналист, официальный журналист, у них был роман, и он на ней женился. Ему действительно многое угрожало, потому что ее родители были репрессированы. Как говорится, поставил на кон карьеру, его не посадили за это, ничего, но, во всяком случае, были такие вещи. У Михалкова этого не было.

Н.Б.-О.: Я читала где-то про отца Натальи Кончаловской, что он любил Париж и сомневался, уезжать ему или не уезжать. Вообще таких людей тоже ведь сажали.

Л.Ж.: Знаете, таким человеком был Алексей Толстой. Да, и он жил в эмиграции, кстати. Вернулся оттуда, был знаменитым советским писателем, лауреатом всяких премий, и Молотов говорил: «С нами рядом сидит Толстой, все знают, что он бывший граф, но он, так сказать, одумался, понял, за кем историческая правда». Этого не было. Например, привезли из-за границы, уже, собственно, умирать, Куприна. Для сталинской камарильи было лестно, что деятели культуры все-таки поняли их правоту. Поэтому любить Париж не было грехом. Известно, что Сталин послал Симонова в Париж к Бунину, и Симонов [Бунина] почти уговорил. Но в это время это судилище над Зощенко и Ахматовой. И, как Симонов потом вспоминал, Зощенко был для Бунина никем, он просто мог его не знать, но Ахматова для него была знаковая фигура, и после этого он не приехал. Очень нелестно отозвался о сталинском правлении и так далее. Просто был такой слой старой интеллигенции, часть из них посадили и уничтожили, а часть

осталась. И это были как бы свидетельства некой интеллектуальной благонадежности большевистской власти. Все было ведь не так просто. Я вот, например, думал, почему Мао Цзэдун постарался уничтожить всю старую китайскую культуру вплоть до Конфуция. Он считал, что писать надо на чистом листе. Что когда невежественные китайские крестьяне станут основным слоем в государстве, на их невежестве легче написать какие-то новые правила жизни. А у нас было не так. Я тоже думал, что же спасло нас? Почему нам в школах давали классику? Вы знаете, это очень интересно. Дело в том, что Ленин получил классическое образование. И он очень любил, высоко ценил и прекрасно знал русскую классику. И больше всего он цитировал в своих произведениях Салтыкова-Щедрина, потом, кажется, вторым шел Гоголь, третьим шел Чехов. Толстого очень высоко ценил, написал прекрасную статью о Толстом, написал прекрасную статью о Герцене. Вообще Ленин был в этом смысле любителем и хранителем русской классики. И когда довольно необразованный Сталин оказался на этом посту, что ему оставалось делать? Верный ученик Ильича вынужден был тоже любить русскую классику. Тем более тогда казалось, что классика ничем не мешает. И тезис был такой, что все наши великие писатели мечтали о будущей победе пролетарской революции. И Белинский писал в 1837 году: «Через 100 лет Россия будет самой яркой демократией Земли». И в 37-м году Россия как раз и стала самой яркой демократией Земли. В 36-м году прошел съезд победителей. В 37-м году были уничтожены остатки прежней недемократии, и Россия действительно стала самой яркой демократией Земли. И еще надо понимать, что некоторые конкуренты Сталина во власти были очень образованными людьми. Троцкий был не только великолепным полководцем, он был замечательным писателем. Его книги до сих пор имеют огромную историческую и даже литературную ценность. Его литературные портреты замечательные. Бухарин был очень образованным человеком. Известно, например, что Троцкий любил Есенина и покровительствовал Есенину. И более того, Есенин очень хотел познакомиться с Троцким. Но Троцкий был тогда культовой фигурой, победителем в Гражданской войне. И Есенин уговорил кого-то из своих приятелей, по-моему, Блюмкина, свести его к Троцкому. Они пришли к Троцкому, и Есенин хотел подарить ему новую книжку. А Троцкий вынул из стола эту книжку, и Есенин на этой книжке сделал дарственную надпись. Троцкий любил Есенина, Бухарин любил Пастернака, а Луначарский любил Маяковского. Так что, понимаете, у Сталина не было, пожалуй, иной возможности, он был вынужден считаться культурным человеком. И он говорил, что любит Толстого, любит Гоголя, любит Пушкина, любит Чехова. И не случайно, скажем, в том же 37-м году столетие со дня гибели Пушкина праздновалось очень торжественно. А к юбилею Гоголя поставили памятник, где Гоголь очень похож на члена Политбюро, который указывает путь в грядущее тем, кто идет мимо памятника. А старый памятник Андреева, гениальный памятник, сослали во двор. Он там находится до сих пор. Так что Сталин был вынужден любить классику и старую интеллигенцию. Считалось, что большевизм — это наследник всей мировой даже культуры. Ведь у нас в школе и Шекспира проходили, и Гёте проходили. Единственное, Ленин не любил Достоевского, и большевики поэтому не любили Достоевского. И в школьных программах Достоевского не было.

Возвращение в Москву

Н.Б.-О.: Так, мы возвращаемся в Москву, в 44-й год.

Л.Ж.: Да. И вот мы с бабушкой, уже по вызову мамы, вернулись в Москву. Мама в это время работала...

Н.Б.-О.: А отец остался?

Л.Ж.: Отец остался там, его не отпускали.

Н.Б.-О.: Матери вызов сделали, вы уехали с мамой и бабушкой.

Л.Ж.: Да. Маме вызов сделали как инженеру-экономисту в Министерство угольной промышленности. Она работала не в министерстве, то ли в главке, то ли в тресте. И этот трест занимался сибирскими месторождениями. Кузбасс и больше всего — Черемховское месторождение. И мать туда довольно часто ездила в командировки. Мы стали жить в Москве, и дали нам в Москве...

Н.Б.-О.: Не в свою квартиру вернулись?

Л.Ж.: Нет-нет, квартира была занята. Нас поселили в Коптево, тогда это была самая окраина Москвы, поселили в бараке. Но барак был двухэтажный. И туда, кажется, даже была проведена вода на кухню. Туалета не было, туалет был во дворе. В квартире было несколько семей, три или четыре. Ну как квартира в бараке — это отсек. Это был 3-й Подмосковский переулок. И учился я там, по-моему, в 510-й школе.

Н.Б.-О.: В обычной школе, да?

Л.Ж.: Конечно, обычная школа. Она была недалеко от нашего барака, максимум десять минут пешком. Рядом с нами была школа, кажется, 401-я. Это была женская школа, в которой училась Зоя Космодемьянская. Эта школа была имени Зои Космодемьянской. И улица сейчас называется улица Зои и Шуры Космодемьянских. Я там учился.



Ну какая была жизнь? Она казалась нормальной. Сейчас я понимаю, какой это был кошмар. Этот барак, эти туалеты во дворе... Жуть, конечно. Но тогда так жили все.

Н.Б.-О.: Вы тогда уже писали что-то, готовились в институт?

Л.Ж.: Нет, стихи просто писал. Я тогда не знал о существовании Литературного института.

Н.Б.-О.: А тогда были экзамены вступительные или просто собеседование?

Л.Ж.: Экзамены конечно. Собеседования были, видимо, только у золотых медалистов и у серебряных. Но медали, кажется, ввели позже. После войны отец вернулся в Москву. То ли его разбронировали, то ли опять вызов прислали, потому что в Москве там, где был Первый ГПЗ, старый Первый ГПЗ, этот завод восстановили. Это был большой завод, и стало по стране несколько подшипниковых заводов. Тот, который перевели в Куйбышев, там и остался, который перевели в Томск, там и остался. А здесь восстановили в прежних масштабах и границах Первый ГПЗ, он так и остался Первым ГПЗ. И отец там работал. В нашей прежней квартире, двухкомнатной, нам дали одну комнату.

Н.Б.-О.: То есть в той, из которой вы уезжали в эвакуацию во время войны.

Л.Ж.: Да. В которой мы жили до войны.

Н.Б.-О.: А разве были такие законы, что люди могли занять чужую квартиру, и ничего им за это не было?

Л.Ж.: Ничего не было, решалось так. Скажем, в нашей квартире тогда нам освободили одну комнату. А в другой комнате жил демобилизованный моряк, матрос. Или он был технарь морской. Он женился на женщине с ребенком, воспитывал жестко, по-военному этого ребенка. Нормальный был, хороший мужик. Но одну комнату нам вернули. Тогда было так, людей эвакуировали, но квартиры не пустовали, их просто занимали, потом люди получали каким-то образом прописку. Допустим, немцев отбросили от Москвы, опять стали восстанавливать промышленность в Москве. Опять людей брали на тот же завод, допустим, на Первый ГПЗ. Но им надо где-то жить. А откуда брались рабочие? Частью из деревень приезжали, частью, скажем, раненые из госпиталей приходили. Разных людей брали. Кто-то оканчивал ремесленное училище, кто-то — институты, по-разному было. Им надо было где-то жить. Их селили в эти квартиры, потому что тогда никаких собственных квартир не было. Все квартиры принадлежали государству, это были как служебные квартиры. Работаешь на заводе — живи, ушел с завода — уходи. Очень долго был такой порядок. Были так называемые ведомственные квартиры. Я не помню, как называлась наша квартира, но, видимо, тоже была ведомственная. Это квартиры, которыми распоряжалось ведомство. Значит, у нас получилось тогда... Сейчас я пытаюсь вспомнить эту эпопею. Комнату вернули отцу в бывшей квартире, но у нас с матерью и бабушкой осталась комната или полторы комнаты...

Н.Б.-О.: В бараке.

Л.Ж.: ...в бараке. Отца перевели работать в министерство, он был хороший инженер, опытный. Им было издано несколько книг по автоматизации. Помню даже, он опубликовал три статьи в газете «Правда». Тогда это было вообще — «Правда». Может быть, в течение пары лет, но, во всяком случае, он напечатался. Его перевели в министерство. И он поменял свою комнату, а там была комната довольно большая, наверное, метров восемнадцать, на маленькую десятиметровую комнату, но ближе к работе, на Колхозной площади. Я когда езджу, вижу дом, где была эта комната. Тогда ни купить, ни продать нельзя было квартиру, только обмен. Этим в основном мама занималась. И мы обменяли нашу жилплощадь в Коптево на комнату в огромной коммуналке в Историческом проезде, в самом центре Москвы, рядом с Кремлем. Но это был полуподвал. И вот в этом полуподвале, там с улицы ступеньки вели вниз, жило девять семей. Была одна кухня, один туалет, одна ванная, которая, естественно не работала. Девять семей, какая там может быть ванная. И окна наши выходили во двор Музея Ленина. Причем поскольку это было заглублено в землю, там было очень темно. Это был дом, где по легенде были когда-то приказы Бориса Годунова. И когда из Петербурга в ссылку везли Радищева, якобы на одну ночь в этой временной тюрьме останавливался Радищев. Там была очень интересная у нас комната, полутемная, но толщина стен была метр семьдесят сантиметров. И на подоконнике можно было спать, такой был широкий подоконник.

” Мне многие завидовали и говорили: «Наверное, ты можешь парады смотреть с Красной площади». На самом деле ничего подобного я делать не мог, потому что во время парадов и демонстраций наш двор наглухо закрывался, стояли там военные внутренних войск и никого не выпускали.

Окончание школы. Поступление в Литинститут

Н.Б.-О.: И тогда вы перешли в другую школу, наверное, да?

Л.Ж.: К тому времени я уже закончил школу. Сперва я учился в 461-й школе, на шарикоподшипнике, на Второй улице машиностроения так называемой, недалеко от завода. Нет, наоборот. Сперва я учился в Коптево, а потом мы переехали на шарик. И вот там я уже учился в 461-й школе, и эту школу я окончил с золотой медалью. Это было интересно. Я написал сочинение и почувствовал, что все перед глазами плывет. Пришел домой, вызвали врача, оказалось, что у меня скарлатина. Тем не менее я со скарлатиной пошел на второй экзамен. Это был, по-моему, русский устный и литература.

” Сдал экзамен тоже на пять. И меня на «скорой помощи» увезли в инфекционную больницу. Я честно месяц с лишним отболел скарлатиной.

Довольно странная болезнь. С неделю температура и все прочие радости, а потом все, нормальное самочувствие, но держат, потому что в течение долгого времени я еще бациллоноситель. Я лежал в скарлатинозном отделении. И там лежал еще какой-то уже взрослый человек. Я с ним шапочно познакомился, потом оказалось, что это поэт Василий Федоров, который учился в Литературном институте. И вот когда я окончил школу, у меня получилось так: в моем школьном аттестате сплошь пятерки. Но только два экзамена сдано, тоже на пятерки. Все-таки дирекция школы, им нужен свой медалист, они сумели доказать, что я заслуживаю золотой медали, потому что у меня в течение обучения в старших классах не было ни одной четверки. Не потому, что я был старательный ученик, нет. Я был порядочный бездельник, у меня просто была хорошая память. Я все мгновенно запоминал, и на уроках читал всякие книжки приключенческие. Но я все сдавал очень хорошо, и когда в школу приходили комиссии проверяющие, меня всегда вызывали. И я никогда не подводил учителей.

В общем, так получилось, что я с золотой медалью пошел поступать. Но куда поступать? В университет, на факультет журналистики. Написал я какую-то вступительную работу. Декан факультета пожал мне руку, сказал, что он счастлив, что такие студенты к ним приходят. С золотой медалью экзаменов не было, только собеседование, которое я тоже блестяще прошел. А потом вывесили список медалистов, принятых и отчисленных, и я увидел свою фамилию в списке отчисленных. Но это был год-то 49-й, там были сплошь еврейские фамилии. И я еще заметил, когда...

Н.Б.-О.: А почему отчисленных, я не поняла.

Л.Ж.: Ну медалистов непринятых.

Н.Б.-О.: То есть среди медалистов был свой конкурс?

Л.Ж.: Нет. Медалисты, у них был конкурс произведений, которые они написали. Я лучше всех написал. Собеседование прошел лучше всех. Но этого было мало. Все решала приемная комиссия. Приемная комиссия решала совершенно определенным способом, это был 49-й год.

Н.Б.-О.: Борьба с космополитизмом.

Л.Ж.: Да, борьба с космополитизмом, я увидел все абсолютно однотипные фамилии. И когда я сдавал документы в университет, я увидел, что там тут же подчеркивают что-то красным карандашом. А красным карандашом была подчеркнута национальность. Я тогда еще не был уверен, что не имеет смысла поступать. Во всяком случае, я не прошел. А еще когда я подавал документы, на ступеньках университета я познакомился с одним парнем, с которым потом много лет дружил. Это был Эдик Иодковский. Эдмунд Феликсович Иодковский. Его взяли в университет.

Н.Б.-О.: А он не был потом главным редактором?..

Л.Ж.: Был, «Литературных вестей». Эдика взяли, потому что он был поляк. А меня не взяли. Ну ладно, не взяли и не взяли. Спустя довольно много лет меня пригласили в университет, на вечер встреч первого и пятого курсов. Есть там такой торжественный вечер, это было в большой Коммунистической аудитории. Меня попросили выступить. И я им сказал: «Вы пришли в лучшее учебное заведение страны, на самый лучший факультет, вы можете этим гордиться, я тоже когда-то хотел сюда поступить, но меня не взяли». Вот так оно было. Но тем не менее надо было куда-то идти. И я узнал, что есть Литературный институт и через каких-то знакомых там набирал курс поэт Александр Александрович Коваленков. Это был ученик замечательного поэта Багрицкого, очень порядочный человек.



Леонид Жуховицкий в молодости

Н.Б.-О.: Коваленков?

Л.Ж.: Коваленков. Он был средний поэт, но у него было несколько песен хороших. Но он был просто хороший, порядочный человек. И меня туда взяли. Я прошел творческий конкурс со своими стихами и попал в Литературный институт. Когда я документы подавал, мне было шестнадцать лет. Но когда поступил, мне уже было семнадцать. Я был самым младшим на курсе. Это был 49-й год, год, когда вместе со вчерашними школьниками поступали демобилизованные. Ведь армию несколько лет после войны не распускали, а потом стали демобилизовывать. И у нас на курсе учились со мной фронтовики, самые старшие из которых были вдвое меня старше, им было по тридцать пять лет.

Н.Б.-О.: Старшинов с вами учился?

Л.Ж.: Старше был на два курса, по-моему. Я, кажется, был на первом, а он был то ли на третьем, то ли на четвертом. Он и его тогдашняя жена Юлия Друнина, они были, по-моему, на четвертом. Но у нас был один творческий семинар, который вел Коваленков, и там были отнюдь не пустые люди. Там была Юля Друнина, которую я с великой благодарностью вспоминаю, ее очень не хватает сейчас, уже много лет не хватает. Она покончила с собой.

Н.Б.-О.: Был вечер потрясающий, я ходила в Дом литераторов. Посвящен он был Старшинову, но какая-то одна часть была ей посвящена, всю хронику, которую они собрали.

Л.Ж.: Коля Старшинов был тоже замечательный человек.

Н.Б.-О.: Вечер был очень теплый, и было очень много народу.

Л.Ж.: Но их уже не было в живых никого...

Н.Б.-О.: Да, уже не было в живых. Какая-то была дата круглая, и сделали вечер, было довольно много молодежи. Правда, потом я выяснила, что это из Литинститута ребята были. Не просто которые узнали про вечер и пришли. Не из-за этого.

Л.Ж.: А где был вечер?

Н.Б.-О.: В Доме литераторов.

Л.Ж.: А, в Доме литераторов.

Н.Б.-О.: В большом зале. Я одно время ходила туда на все вечера, записывала. Там иногда было просто очень. Зависело от того, кто этим занимался. Некоторые были нудные такие, в президиуме сто человек, что-то там говорят. А про Старшинова и Друнину был вечер достойный и хороший.

Л.Ж.: Понимаете, тогда было странное время. Мы все, студенты, естественно, были на ты. И фронтовик Сергей Орлов, горевший в танке, замечательный поэт, он для меня был тогда Сережа. И ко мне все эти фронтовики относились хорошо почему? Я-то пришел сразу после школы, и я, естественно, учился на сплошные пятерки, не прилагая к этому ровно никаких усилий. У меня все было в памяти еще со школьной программы. Я все хорошо помнил. А им было трудно учиться. Потому что пока они были до демобилизации в армии, они все эти науки забыли. Но у них за спиной была жизнь, которой у меня не было. Не помню, на каком-то семинаре, кажется, поэзии обсуждали поэму Твардовского «Василий Теркин». Я тогда полный дурак, комсомолец, естественно, стал говорить, что великий недостаток этой поэмы, что там ничего не говорится о роли Сталина, о роли партии и так далее. И мой друг, однокурсник Миша Шевченко, он был меня старше на четыре года, который очень любил Твардовского, нашел что-то и сказал: «Вот смотри, тут написано: «Твой ЦК и твой Калинин». То есть партия отражена. Потом в коридоре ко мне подошел Коля Старшинов и очень деликатно, он вообще был удивительно деликатный человек, стал мне говорить: «Понимаешь, Леня, война же была не совсем такой, как это в кино показывают. И когда в атаку шли, не кричали: «За Родину, за Сталина». Орали матом просто». И я это помню до сих пор, потому что эти ребята, которые учились, прежде всего Коля, могли до нас донести правду о войне, какой она была на самом деле. Ну что такое для нас была война по фильмам тех лет, по книгам? Поднимается в атаку политрук: «За Родину, за Сталина, за мной!» Мы понятия не имели тогда этого. И не случайно тогда люди писали: «Если я погибну, считайте меня коммунистом». Что это значит? Что они не были коммунистами. Что на передовой были самые обычные вчерашние школьники, или колхозники, которых хватили из деревень, посылали туда. Кое-как вооружали, кое-как обучали — и пошли воевать. Еще командование было уничтожено. Почему и попало такое количество в плен. Пять с половиной миллионов попало в плен! Во всех воевавших странах вместе взятых столько не попало. Немцев брали в плен, когда они уже капитулировали. Это произошло потому, что не было командования, были очень плохо обучены войска. Ну что делать, это вот сталинская военная политика.

Н.Б.-О.: Вернемся в Литературный институт. А кто преподавал у вас? У вас же тогда потрясающие люди были.

Л.Ж.: Там были интересные преподаватели, кого я помню. Языкознание у нас читал профессор Реформатский.

Н.Б.-О.: Александр Александрович Реформатский?

Л.Ж.: Да.

Н.Б.-О.: Он у нас записан. Потрясающе. Я слушаю его записи (*смеется*), это просто в театр не надо ходить.

Л.Ж.: Очень умный и очень честный человек, который, когда господствовало учение Марра, был его противником. Советскую литературу у нас читал тоже очень интересный человек, профессор Павел Иванович Новицкий, который так здорово читал, что мы после его лекций аплодировали, пока однажды, через месяц, он сказал: «Я прошу вас мне не аплодировать, потому что это как бы нехорошо». Русскую классику читал очень талантливый человек, к сожалению, лично очень непорядочный. Был такой Владимир Александрович Архипов, интересно читал русскую классику. Я ему очень благодарен. Потом он стал что-то писать и печататься, и это не походило на то, что он нам говорил. Он, видимо, смекнул, что карьеру сделать непросто. Лучше жить, если примыкаешь к группе так называемых писателей-патриотов, писателей-коммунистов. Это Сафронов, Кочетов, Грибачев и всякая эта шваль. Он печатался в их изданиях. Но повторяю, что человек это был очень талантливый, очень интересный, очень любивший революционных демократов, Добролюбова, Писарева. И вот во многом благодаря ему я приобрел парадоксальное мышление, которое было у революционных демократов. Зарубежную литературу преподавала Валентина Александровна Дынник. Она была доктором наук и за ней по всей вузам, где она преподавала, ходила легенда, что когда-то, когда она была молоденькой девочкой и писала стихи, она пришла в какой-то журнал, а там был Есенин. И он ее поцеловал в лоб. И с этим поцелуем она и шла по жизни. Я не помню, реальный был этот поцелуй или выдуманный, но, во всяком случае...

Н.Б.-О.: Легенда была.

Л.Ж.: Легенда была. Она была интеллигентным человеком, очень хорошо знала свой предмет и давала его нам.